

# СОЦИОЛОГИЯ ВЕЩЕЙ



ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

Коллектив авторов

**Социология вещей**  
**(сборник статей)**

«Территория будущего»

## **Коллектив авторов**

Социология вещей (сборник статей) / Коллектив авторов —  
«Территория будущего»,

Настоящий сборник посвящен проблематике соотнесения «социального» и «материального» в социологической теории. Авторы постарались проследить историю концептуализации материального объекта в социальном теоретизировании, отобрав принципиально разнородные способы представления материальности средствами социологического воображения.

## Содержание

Виктор Вахштайн	5
Часть I	26
Георг Зиммель	26
Георг Зиммель	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Социология вещей (сборник статей)

Виктор Вахштайн

## Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории

*Она обнаружила, что компанию ей могут составить простейшие вещи: газета, языка которой она не понимала; застойный канал с нефтяными пятнами; уличные углы... Джин подумала, что вещи не составляют замену другим вещам, они существуют сами по себе...*

*Дж. Барнс*

*... connecting people.*

*«Nokia»*

Настоящий сборник посвящен проблематике соотнесения «социального» и «материального» в социологической теории. При его составлении мы решали две задачи, которые если и не противоречат друг другу, то находятся в весьма напряженных отношениях.

С одной стороны, мы постарались проследить историю концептуализации материального объекта в социальном теоретизировании, отобрав принципиально разнородные способы представления материальности средствами социологического воображения. Поэтому работы классика социальной мысли Георга Зиммеля соседствуют на страницах сборника с работами представителей современной социологии повседневности (И. Гофман), социальной антропологии (И. Копытофф), социологии знания (К. Кнорр-Цетина), истории права (У. Питц) и социологии техники (Б. Латур, Дж. Ло). Каждое имя здесь маркирует особый «конечный словарь», обладающий собственной метафорикой и логикой рассмотрения материальности. Другая наша задача – отражение современных дискуссий и новых исследовательских подходов, появление которых стимулировало рост интереса к проблематике вещи. Это интеллектуальное брожение, начавшееся около двадцати лет назад благодаря работам Брюно Латура и Карин Кнорр-Цетины, сегодня часто именуют «поворотом к материальному» (material turn)<sup>1</sup> по аналогии с «лингвистическим поворотом» (linguistic turn) и «поворотом к практике» (practice turn). Его основное требование звучит в духе хайдеггеровского императива «Относиться к вещи как к вещи» – это требование нередукционистской проблематизации вещности социального мира.

Две сформулированные выше задачи – представление вещи средствами социологического воображения и новая проблематизация вещности – не образуют единой «системы уравнений»; напротив, решение одной из них затрудняет решение другой. В частности, потому что «нередукционистское» отношение к вещам означает отказ от попыток дать материальным объектам привычную *социальную интерпретацию*.

«Что для уважаемых общественных наук означало бы дать природным феноменам социальную интерпретацию? – замечает Брюно Латур. – Показать, что кварк, микроб, закон термодинамики, инерциальная система наведения и т. п. в действительности суть не то, чем они кажутся – не подлинно объективные сущности внеположной природы, а хранилища чего-то еще, что они преломляют, отражают, маскируют или скрывают в себе. Этим „чем-то еще“ в традиции общественных наук непременно выступают некие социальные функции и факторы. Так, социальная интерпретация в конечном счете подразумевает способность *заместить* неко-

---

<sup>1</sup> См. например: Pels D., Hetherington K., Vandenberghe F. The status of the object: performances, mediations and techniques // Theory, Culture and Society. 2002. Vol. 19. № 5 / 6.

торый объект, относящийся к природе, *другим*, принадлежащим обществу, и показать, что именно он является истинной сущностью первого»<sup>2</sup>. Критический выпад Латура адресован, прежде всего, его оппонентам – последователям Пьера Бурдьё, для которых всякая материальная вещь (от окружающих нас объектов повседневного обихода до космических летательных аппаратов) есть социальный конструкт, результат «объективации», порождение социальных отношений. В то же время аргумент Латура справедлив для всего корпуса теорий, опирающихся на незыблемую аксиому социологического мышления: «*объяснять социальное социальным*» (Э. Дюркгейм). Из этой аксиомы напрямую следует требование «редукции материального», его замещения «социальным» и объяснения социальным же – социальными функциями, повседневными практиками, общественными отношениями, взаимодействиями и коммуникациями. Поэтому социологу так легко дается представление вещи в образе «ансамбля социальных отношений», «результата объективации», «фетиша» или «оснащения повседневных практик».

Социологическое воображение подсказывает: вещь может быть описана на языке социологии только как маркер, знак, идентификатор социального явления, скрытого от глаз, но проявляющего себя в данном конкретном материальном объекте. Дорогой автомобиль – знак классового статуса, дом аборигена – проекция его представлений об устройстве вселенной, телефон – материализация узла коммуникационной сети, космический корабль – признак технологического развития общества, предметы обстановки – реквизит в спектакле, именуемом «повседневными взаимодействиями». Ряд может быть продолжен: социология декодирует вещи, проблематизируя их социальные «означаемые» и одновременно делая непроблематичными их материальные «означающие». «Поворот к материальному» предполагает отказ от подобной логики рассуждения – зримая и осязаемая вещь не должна в конечном итоге редуцироваться к нематериальной «социальной вещи».

Если принять это требование адептов нового «поворота», наша задача № 1 – упорядочить существующие концептуализации материального объекта – выглядит как коллекционирование заблуждений, летописание истории «подмен» и продолжение «развешествления» мира, совершаемого от поколения к поколению авторами-социологами. Если же мы отказываемся признать необходимость «переосмысления материальности» и поиска новых способов проблематизации вещи, тогда наша задача № 2 выглядит сомнительно: не следует лишний раз покусаться на аксиоматические основы дисциплины; всякий «поворот» – это не столько «поворот к...», сколько «поворот от...».

И все же, почему пристальное внимание к материальным аспектам социального мира трактуется как угроза аксиомам социологии? Почему обращение к материальности социального, по замечанию К. Кнорр-Цетины, «требует весьма значительного расширения социологического воображения и словаря... и осуществить его... серьезная задача, встающая сегодня перед социальной теорией»<sup>3</sup>?

Один из возможных ответов состоит в том, что социология изначально формируется как наука о «нематериальном». Все классические социологические проекты – те, в которых закладывалась аксиоматика дисциплины, – проводили четкие границы между областями «социального» и «несоциального». Само «социальное», как центральная объяснительная категория социологии, обязано своим рождением попыткам преодоления декартова дуализма между психическим (*res cogitans*) и материальным (*res extensa*). Очевидно, если различение, сформулированное Декартом, исчерпывающе, социологии места не остается: либо ее предмет отно-

---

<sup>2</sup> Латур Б. Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки. Наст. изд. С. 344.

<sup>3</sup> Кнорр-Цетина К. Социальность и объекты. Социальные отношения в постсоциальных обществах знания. Наст. изд. С. 268.

сится к физическому миру и находится среди «протяженных вещей», либо он локализован в мире *res cogitans* и мало чем отличается от предмета психологии<sup>4</sup>. Право на автономию у социологии появляется лишь тогда, когда «социальное» обнаруживает свою суверенность, независимость от материального и психического. (Подтверждением этому служит замыкание каузальных рядов в дюркгеймовской формуле «объяснения социального социальным».) Суверенизация социологии идет параллельно ее размежеванию с психологией и естественными науками, а значит, неразрывно связана с де-психологизацией и де-материализацией ее предмета.

Один пример из истории социологии – в неокантианских теоретических проектах М. Вебера и Г. Зиммеля картезианскому дуализму противопоставляется идея *мира смыслов*, как пограничного царства, расположенного между миром ценностей и миром бытия (Г. Риккерт). Именно в нем локализован предмет социологии. Смысл, по выражению Г. Риккерта, есть нечто «независимо противостоящее этому миру». Вебер стоит на тех же позициях: *смысл* примера на вычитание не содержится в бумаге, на которой этот пример написан (равно как не содержится он и в «психике» решающего его ученика). И психическое, и материальное остаются в мире бытия, тогда как социальное принадлежит царству смыслов, которое данному миру независимо противопоставлено. Таким образом, социология отказывается от изучения «вещей *per se*», ограничив предмет своего исследования их социальными смыслами. Вернуть в социологическое рассуждение вещьность, значит разомкнуть каузальные ряды, отказаться от признания суверенитета социального, а вместе с ним – от самостоятельности социологии.

Собственно, редукция вещи к ее социальному смыслу – это одна из первых социологических концептуализаций материального объекта. Данный тип рассуждения о материальности ярко представлен в работах Георга Зиммеля. Зиммель единственный классик социологии, посвятивший ряд работ отдельным материальным предметам («Руина», «Мост и дверь», «Рама картины», «Ручка»). Однако предметы для него – суть *смысловые*, а не *материальные* единства. «Комплексы свойств, которые мы называем вещами, – пишет он, – со всеми законами их взаимосвязи и развития, мы можем представить себе в их чисто предметном, логическом значении и, совершенно независимо от этого спрашивать, осуществлены ли эти понятия или внутренние созерцания... Этот содержательный смысл и определенность объектов не затрагиваются вопросом о том, обнаруживаются ли они затем в бытии».<sup>5</sup>

Такая постановка вопроса позволяет Зиммелю говорить о различных в восприятии вещах, как об «экземплярах» и «видах» (*Ausgestaltungen*) одной и той же вещи, его занимает не онтология, а *логика* вещей. Именно проблематизация «социальной логики вещей» позволяет ему утверждать, что «характер вещи зависит в конечном счете от того, является она целым или частью»: например, рама картины «...повторяет общее жизненное затруднение, которое заключается в том, что элементы общностей тем не менее претендуют на то, чтобы быть автономным целым для себя сами. Из этого видно, – продолжает Зиммель, – какое бесконечно тонкое равновесие выступлений и отступлений, должна удерживать рама, чтобы с наглядностью разрешать задачу разделяющего и объединяющего посредничества между произведением искусства и его окружением – задача, аналогией которой является историческое взаимодействие индивидуума и общества»<sup>6</sup>. Иными словами, материальный предмет – рама картины – служит проекцией двойственности социального отношения – отношения индивида и общества. Пограничное положение рамы, не являющейся ни частью самой картины, ни частью ее фона,

<sup>4</sup> Этот аргумент принадлежит А. Ф. Филиппову. См.: Филиппов А. Ф. Теоретические основания социологии пространства. М.: Канон-Пресс-Ц, 2003.

<sup>5</sup> Georg Simmel Gesamtausgabe / Hrsgg. v. O. Ramstedt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992. VI. S. 317–318. Цит. по Филиппов А. Ф. Указ. соч. С. 82.

<sup>6</sup> Зиммель Г. Рама картины. Эстетический опыт. Наст. изд. С. 53.

служит для Зиммеля иллюстрацией занимающей его социологической проблемы «пограничности» как таковой<sup>7</sup>.

Та же логика исследования применяется им и к описанию ручки вазы. Подобно раме картины, ручка вазы занимает пограничное положение между произведением искусства и «внешним» миром. Она – точка интерференции миров, мира искусства и мира практической деятельности. Эта интерференция Зиммелем трактуется последовательно социологически: «Например, индивидуум, принадлежа закрытому кругу семьи, общины, одновременно является точкой проникновения в эти круги притязаний внешнего рода: требований государства, профессии. Государство окружает семью подобно тому как практическая среда окружает сосуд, и каждый из ее членов уподобляется ручке, при помощи которой государство манипулирует ею для своих целей. И так же как ручка своей готовностью к выполнению практических задач не должна нарушать единство формы вазы, так и искусство жизни требует от индивидуума, чтобы он, сохраняя свою роль в органической замкнутости одного круга, одновременно служил целям другой, более широкой общности и посредством этого служения помогал включению более узкого круга в круг его превосходящий»<sup>8</sup>.

Данная логика анализа – «визитная карточка» формальной социологии Г. Зиммеля. По Зиммелю, формальная социология – это социальная геометрия «форм обобществления» (*Formen der Vergesellschaftung*). Геометрия изучает пространственные формы абстрактно, в отрыве от их манифестаций в мире. Она интересуется только одним аспектом материального объекта – его пространственностью – оставляя другим наукам анализ прочих аспектов. Так же и Зиммеля занимают проблемы включения одного «социального круга» в другой «социальный круг», «точек интерференции», «отношений-„между“», «органической замкнутости» и «эксклавов». В сходных категориях «логического устройства» (безразличного к конкретным манифестациям в мире) могут анализироваться и события человеческой жизни, и целостность литературного произведения, и устройство публичного пространства, и порядок материальных предметов.

Оба опубликованных в настоящем сборнике исследования Г. Зиммеля начинаются как анализ эстетического опыта конкретной материальной вещи, продолжают концептуализацией воплотившихся в данной вещи отношений («части и целого», «интерференции миров») и завершаются приложением этих концептуализаций к проблемам социальным – сама же вещь как материальный объект в финале ускользает из поля зрения. «Возможно, – заключает Зиммель, – специфическая проблема ручки и не стоила бы столь пространного толкования, если бы само толкование не оправдывало себя широтой символических отношений, которое именно оно придает этому незначительному феномену».<sup>9</sup> То есть, сама вещь – «незначительный феномен». Обращение к нему оправдывается лишь широтой стоящих за ним «символических отношений». Материальное предстает спонтанной метафорой символического. Благодаря Зиммелю, поиск «социальной логики вещей» становится доминирующим способом проблематизации вещи, материальные свойства которой более не считаются релевантными социологическому рассуждению. Важно не то, что вещь «есть», а то, что она «говорит взгляду», то, как она «прочитывается».

Развитие этой схемы мы находим у современного классика социологии повседневности Ирвинга Гофмана. (В сборнике приводится глава из его фундаментального исследования «Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта».) Теория фрейм-анализа И. Гофмана

---

<sup>7</sup> Другой атрибут зиммелевской теоретической схемы, допускающей перенесение на материальные объекты социальных отношений, – субстантивированный предлог «Междусть» (*das Zwischen*), выражающий двойственность одновременно социального и пространственного расположения индивидов и групп.

<sup>8</sup> Зиммель Г. Ручка вазы. Эстетический опыт. Наст. изд. С. 46.

<sup>9</sup> Там же.

изобилует аллюзиями на процитированные выше работы Зиммеля. Более того, само понятие фрейма (рамки социального взаимодействия) вводится в психологическую<sup>10</sup>, а затем и в социологическую<sup>11</sup> теорию по аналогии с рамой картины.

Например, театральное представление воспринимается зрителями именно как театральное представление (а не как фрагмент повседневной жизни) благодаря сцене. Сцена, подобно раме картины, очерчивает границы особой сферы опыта, не дает ему смешаться с опытом повседневности. Сходные рамки разграничивают различные формы повседневных взаимодействий – «семейный завтрак», «обсуждение прошедшего отпуска», «совещание», «подготовка презентации к докладу», «чтение на ночь», «написание предисловия». Наличие фреймов указывает на процессы *форматирования* социальной жизни. Там, где это форматирование дает сбой, происходят срывы взаимодействия, аналогичные массовой панике на премьере первой ленты братьев Люмьер. Актер, игравший Отелло и застреленный из зрительного зала, также пал жертвой поломки фрейма – зритель, не приученный распознавать фрейм сценической игры, воспринял увиденное в фрейме «нападения чернокожего на белую женщину».

Фреймы имеют зримые материальные корреляты, они воплощены в окружающих нас вещах повседневного обихода. Форматирование социальной жизни немыслимо без участия материальных объектов: «Каким бы изменчивым ни было содержание кувшина, – пишет Гофман, отсылая к работе Зиммеля, – его ручка остается вполне осязаемой и неизменной»<sup>12</sup>. Однако если для Зиммеля ручка вазы – метафора положения человека «на грани миров», то для Гофмана ручка – прежде всего, медиатор, материальный объект, связующий «внутреннее» и «внешнее», деятельность, вычленяемую фреймом, и подвижный, изменчивый мир за его пределами.

Эта осязаемость и неизменность закономерно привлекает внимание к материальному конституированию социальной жизни. Гофман делает шаг в данном направлении, вводя понятие «оснащения» (equipment) – всей совокупности опосредующих социальное взаимодействие материальных объектов, которые формируют интеракцию, закрепляют ее, наделяют *объективностью*. «Мы не можем сказать, что миры создаются „здесь и сейчас“, – замечает Гофман, – потому что независимо от того, говорим ли мы об игре в карты или о взаимодействии в ходе хирургической операции, речь идет об использовании некоторого традиционного реквизита, обладающего собственной историей в „большом“ обществе».<sup>13</sup> Таким образом, материальный объект – это «якорь» (anchor) социального взаимодействия.

Казалось бы, гофмановское решение проблемы материальности – его концептуализация вещи как «якоря взаимодействия» – прямо противоположно классическому зиммелевскому пониманию вещи как смыслового единства, независимого от своих физических манифестаций. Однако это не вполне корректное противопоставление. Гофман и Зиммель решают задачи разной теоретической локализации. Зиммель ведет свой поиск в надмирном царстве смыслов, в котором вещь неизбежно подменяется «социальным значением вещи», Гофман же увлечен микромиром повседневных взаимодействий, где материальность вещей «проступает» во всей своей физической определенности и подобная редукция к смыслу затруднительна. Микросоциологу, изучающему взаимодействия лицом-к-лицу в ходе хирургической операции, довольно трудно игнорировать материальность скальпеля, лампы, кардиографа, хирургического стола и лежащего на нем тела. Для него они всегда нечто большее, чем «смысловые един-

<sup>10</sup> См. Бейтсон Г. Теория игры и фантазии // Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии, эпистемологии / Пер. с англ. М.: Смысл, 2000.

<sup>11</sup> Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой; вступ. статья Г. С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003.

<sup>12</sup> Гофман И. Закрепление форм деятельности. Наст. изд. С. 56.

<sup>13</sup> Goffman E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. New York: Anchor, 1967. P. 27–28.

ства», хотя именно их смысловая определенность делает повседневные ситуации читаемыми, внятыми, непроблематичными.

Впрочем, в микросоциологическом теоретизировании есть свои приемы редукции материальности. Если для Ирвинга Гофмана материальный объект является «якорем» повседневного взаимодействия в силу «собственной истории в „большом“ обществе», то для Гарольда Гарфинкеля и исследователей-этнометодологов никакого исходного, предписанного и нерелятивируемого смысла объекта нет, а есть лишь его партикулярное использование в каждой конкретной социальной практике.<sup>14</sup> Поэтому всякий объект оказывается «как-если-бы» объектом, чье значение обусловлено исключительно его использованием здесь и сейчас. Гарфинкелевское понятие «*as-of-which object*» указывает на несколько аспектов объектности – на ситуацию, в которую объект включен, на его связь с другими объектами в рамках данной ситуации, на то функциональное место в пространстве и времени, которое он занимает<sup>15</sup>. Например, спички, используемые игроками в покер вместо денежных купюр, не «замещают» денежные купюры, они *суть* деньги в данной конкретной практике.

Эта оппозиция гофмановского и гарфинкелевского рассуждения о материальном объекте иллюстрирует два альтернативных способа анализа вещи в микросоциологии – два способа ее исследования как *оснащения*. Гарфинкель отталкивается от хайдеггеровской идеи «оснастки» (*Zeug*). (Анализ такой трактовки вещи дан в опубликованной во второй части сборника статье К. Кнорр-Цетины «Социальность и объекты»). Вещь, понятая как оснастка, это вещь инструментальная или «инструментализируемая» практическим действием. Вы заводите свой автомобиль, ключ поворачивается в замке зажигания, мотор начинает работать ровно и без перебоев, вы производите ряд привычных манипуляций и машина как нечто проблематичное исчезает, она становится послушным инструментом ваших практических действий. Она была проблематичной в тот краткий момент, когда вы прислушивались к звуку мотора, но перестала быть таковой, как только вы убедились, что «все нормально». Лишь тогда, когда они выходят из строя и перестают быть инструментами, вещи вновь становятся «объектами» (Б. Латур справедливо указывает на коннотацию слова объект: «*to object*» – «выражать»). Например, когда в шариковой ручке заканчиваются чернила она из воплощенной функции письма становится проблематичной, непрозрачной материальной вещью. Мир практических нерелексивных действий – это мир послушных (по Хайдеггеру, «свернутых», «прозрачных») вещей.

Определение «оснащения» („equipment“) у Гофмана противоположно определению «оснастки» („Zeug“). В теории фреймов вещь – это, скорее, реквизит, чем инструмент. То движение, которое совершает Гофман в направлении концептуализации материального объекта как оснащения-реквизита, возвращает вещам их объектность. Вещи более не «поглощаются» действиями людей, но скрепляют и направляют их: деловой костюм придает внятность взаимодействиям в «деловых» фреймах (отделяя деловые встречи от встреч «без галстуков»), спортивное снаряжение связывает взаимодействия в фреймах «активного отдыха» (см. в тексте Гофмана тезис о преемственности ресурсов взаимодействия). Таким образом, материальная атрибутика повседневной жизни придает социальным ситуациям связность и целостность.

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что подобная концептуализация оставляет вещам ничуть не больше самостоятельности в качестве предметов исследования, чем их определение в категориях послушных и подручных объектов. Дело в том, что реквизит – это всегда знак, сообщение. А потому хоть флаг и не «поглощается» ритуалом парада так, как шариковая ручка «поглощается» практикой письма, но флагом его делает не материальность

<sup>14</sup> Garfinkel H. Oriented object // Garfinkel H. Ethnomethodology's program: Working out Durkheim's aphorism. ny.: Rowman & Littlefi eld, 2002.

<sup>15</sup> В дальнейшем Гарфинкель отказался от использования неологизма «as-of-which», вернувшись к понятию «ориентированного объекта» (oriented object). Я искренне признателен профессору Э. У Роулз за разъяснения.

полотна и вещьность древка, а все те же скрывающиеся за ним «символические отношения». Мы вновь вернулись к зиммелевской постановке вопроса о социальной логике вещей и предложенному им решению: социальное содержание самозаконно, материальная форма – нет. В терминах Гофмана: «...*непрерывность* характера обращения [с предметами] навязана нам не объективной непрерывностью существования материальных вещей, но нашими *представлениями* о непрерывности духовно-значимых предметов. Священные реликвии, сувениры, подарки и локоны волос на память поддерживают некую физическую непрерывность связи с тем, о чем напоминают. Но именно наши культурные верования и представления о преемственности ресурсов деятельности придают таким реликвиям известное эмоциональное значение, личностное звучание – так же, как эти верования „придают“ нам нашу личность»<sup>16</sup>. Социологизированная подобным образом вещь предстает в образе физического объекта, опутанного паутиной смыслов. В этом отношении к материальности социального мира еще раз проявляется сходство позиций И. Гофмана и Г. Зиммеля.

Импликация такого решения – требование охранять демаркационную линию между социальным и материальным. Фреймы, хотя и имеют материальные корреляты, нематериальны. Например, «игра в шахматы, – отмечает Гофман, – содержит два принципиально различающихся основания: одно полностью принадлежит физическому миру, где происходит пространственное перемещение материальных фигурок, другое относится непосредственно к социальному миру противоборствующих в игре сторон»<sup>17</sup>. Из чего следует, что противоборство сторон – социально, тогда как «простые» материальные фигурки требуют оживления, анимации, включения в игру, без которой они обречены оставаться «просто» кусочками материала разной формы. За этой демаркацией материального и социального угадывается неэксплицируемая исследовательская установка: *материальное – «просто», социальное – «сложно»*. Материальные вещи суть «просто вещи» (*mere things*), они непроблематичны и требуют внимания лишь настолько, насколько являются ингредиентами сложной субстанции социального. Социальное самодостаточно (шахматный поединок может вестись вслепую, без досок и фигурок), материальному же требуется опора в мире социальных значений.

Этот заход на определенном этапе развития социальной мысли становится исключительно эффективным средством социологической экспансии. Достаточно указать на нити паутины смыслов, тянущиеся за «простым» материальным объектом, и социология получает право неограниченного доступа к самым разнообразным предметам (поскольку исследует не то, что они «есть», а то, что они «значат» для представителей конкретного сообщества). Следы данной перспективы анализа можно обнаружить и в социальной (культурной) антропологии.

Так, в статье «Культурная биография вещей: товаризация как процесс», вошедшей в первую часть настоящего сборника, антрополог Игорь Копытофф использует сходную логику при атаке на аксиомы экономического мышления: «Для экономиста товары просто „есть“... С точки зрения культуры, производство товаров является культурным и когнитивным процессом: товары следует не только произвести физически как вещи, но и маркировать в координатах культуры как вещи определенного рода. Из всего диапазона предметов, наличествующих в обществе, лишь некоторые получают право называться товарами. Более того, один и тот же предмет может считаться товаром в один период времени и не считаться им в другой. И, наконец, один и тот же предмет может одновременно являться в глазах одного человека товаром, а в глазах другого – нет. Подобные изменения и разногласия при оценке того, является ли вещь товаром, свидетельствуют о существовании моральной экономики, которая скрывается

---

<sup>16</sup> Гофман И. Закрепление форм деятельности. Наст. изд. С. 117.

<sup>17</sup> Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой; вступ. статья Г. С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003. С. 84.

за объективной экономикой, выражающейся в зримых сделках купли-продажи»<sup>18</sup>. Товар здесь понимается как своего рода «маркер», которым помечается материальный предмет сообразно закрепленным в культуре системам различий. Копытофф проблематизирует фундаментальное различие западной культуры – различие «мира людей» и «вселенной объектов». Его анализ охватывает феномены рабства, коллекционирования, суррогатного материнства, моды на антиквариат, аборт – при этом, чего бы ни касалось его исследование, Копытофф последователен в своем стремлении раскрыть стоящую за «объективной» экономикой «моральную» экономику культурных значений. Собственно, культурные значения, по Копытоффу, и определяют модус бытования вещи в том или ином сообществе.

Идея сама по себе не новая. Заслуживающей внимания ее делает методологическая база исследования – применение биографического метода для изучения «жизненного пути» и «карьерной траектории» материальных объектов. Под биографией вещи здесь понимается ее перемещение в пространстве социальных значений. «Например, в заирском племени *суку*, где я работал, – пишет Копытофф, – продолжительность жизни хижины составляет около десяти лет. Типичная биография хижины начинается с того, что она служит домом для пары или, в случае полигамной семьи, для жены с детьми. Со временем хижина последовательно становится гостевым домом или жилищем для вдовы, местом встреч подростков, кухней и, наконец, курятником или хлевом для коз – пока не разваливается, подточенная термитами. Физическое состояние хижины на каждом этапе соответствует конкретному применению; хижина, используемая не так, как диктует ее состояние, вводит людей *суку* в смущение и говорит о многом. Так, если гостя селят в хижину, которой положено быть кухней, это кое-что говорит о статусе гостя, а если на участке нет хижины для гостей, это кое-что говорит о характере хозяина участка – он ленив, негостеприимен или беден»<sup>19</sup>.

Насколько проблематично для Копытоффа упоминаемое здесь «физическое состояние» объекта? В гораздо меньшей степени, нежели динамика его «культурного статуса». Физическое старение хижины идет параллельно с ее культурным *старением* (как иначе назвать процесс приобретения социальной биографии, завершающийся физическим распадом?), а зачастую детерминирует его – термиты могут оборвать жизненный путь хижины и в бытность ее «домом для гостей». Но физическое старение описывается в данной схеме как однонаправленный, линейный, «простой» процесс в противоположность процессу культурного оформления биографий, допускающему возвратное движение в пространстве социальных значений («уникальный объект – товар – уникальный объект», «храм – бассейн – храм» и т. д.). Для того чтобы социальная и культурная мобильность вещи предстала как самостоятельный предмет анализа, требующий особой логики исследования, ее физическая биография должна быть описана максимально просто и непроблематично. В противном случае в объяснительную схему наряду с «когнитивным маркированием» и «культурно наполненными категориями» придется включить «термитов» и «качество строительного материала».

Наличие культурной биографии – свидетельство социальной сложности объекта. Исследование биографий позволяет проследить, как именно материальная вещь, получая опору в мире социальных значений, становится «больше-чем-вещью». Сходная проблема ставится и в статье Рома Харре «Материальные объекты в социальных мирах». Однако такой опорой в схеме Харре являются не конвенциональные для членов сообщества культурные различия, а множественные и дополняющие друг друга *нарративы*. Материальная вещь оказывается «социальным объектом» ровно настолько, насколько включена в то или иное повествование. (Так, христианский нарратив превращает несоциальный «алкоголь» в социальное «вино для причастия».) Нарративы – в отличие от изучаемых Копытоффом культурных установлений

---

<sup>18</sup> Копытофф И. Культурная биография вещей: товаризация как процесс. Наст. изд. С. 135.

<sup>19</sup> Там же. С. 137.

– подвижны и неконсистентны, они не образуют единой системы различий. Такая перспектива позволяет «...материальному предмету, определяемому его материальными атрибутами, существовать в качестве не одного, а нескольких социальных объектов, каждый из которых характеризуется особой ролью в повествовании»<sup>20</sup>.

Соответственно, вещь лишается постоянного места в пространстве социальных смыслов (в котором она, по мысли Копытоффа, лишь периодически совершает перемещения), а вместе с ним – и постоянного, нерелятивируемого «собственного значения». В качестве социального объекта материальная вещь существует одновременно во множестве повествовательных миров. «Если кто-то захочет спросить: „каково значение моста как социального объекта?“ – пишет Харре, – потребуется выяснить, перекинут ли мост через Сену или через реку Квай... Другой пример: как тюремные стены, удерживающие заключенных внутри, могут быть поняты *социологически*? Из предыдущих рассуждений следует сделать вывод о том, что общего ответа на этот вопрос не существует. Ответ зависит от сюжетной линии. Для того, кто считает себя несправедливо заключенным, тюремные стены – это препятствия возвращению во внешний мир. Для того, кто чувствует себя в тюрьме беженцем, „те же самые“ материальные стены служат защитой от опасного внешнего мира. Данное наблюдение весьма банально, но его удивительно часто не принимают во внимание. Даже Фуко не обнаруживает полного понимания этого аспекта. Окна Паноптикона всегда допускают наблюдение за узниками и никогда – возможность заключенного посмотреть на других представителей рода человеческого»<sup>21</sup>.

«Сюжетные линии» в схеме Р. Харре, «культурно наполненные категории» в анализе И. Копытоффа, «системы фреймов» в теории И. Гофмана – эти концепты непосредственно между собой не связаны и не образуют единого пространства концептуализации материального объекта. Однако каждый из описанных способов рассуждения делает возможным собственно социологическое исследование вещи – изучение ее культурной биографии, нарративной артикуляции или обиходного использования. Эта «социологичность» обеспечивается следованием зиммелевской максиме, согласно которой вещь есть, прежде всего, смысловое, а не материальное единство. Соответственно, задача социолога – установить, чем это единство обеспечено, какие «символические отношения» придают ему устойчивость. Социологизм требует от исследователя раскрыть механизмы смыслового конституирования материальных вещей, что в конечном итоге предполагает распроблематизацию и последующую редукцию вещи как материального объекта. «У обществоведов достаточно оснований полагаться на эффективность этой стратегии, – замечает Брюно Латур, – ведь она, по их мнению, работала в парадигматическом примере с религией в XIX в., когда складывались общественные науки. Обществоведы без особого труда убедили себя: чтобы объяснить ритуалы, верования, видения или чудеса (т. е. трансцендентные объекты, каковым акторы приписывают свойство быть первопричиной какого-либо действия) вполне допустимо (хотя и не всегда легко) *заместить* содержание этих объектов функциями общества, которые были скрыты в этих объектах и имитированы ими».<sup>22</sup>

Полемический выпад Латура не вполне корректен методологически. «Конечный словарь» той или иной дисциплины определяется ее способностью создать собственную референцию изучаемого предмета. Чтобы получить возможность социологического исследования материального объекта необходимо этот объект описать, подобрав ему адекватную концептуализацию; концептуализации же, преимущественно, имеют вид метафор: «вещь как реквизит», «вещь как оснастка», «вещь как знак». Метафоры обладают способностью, высвечивая одни аспекты описываемого предмета, затенять и делать неproblemатичными другие его возмож-

---

<sup>20</sup> Харре Р. Материальные объекты в социальных мирах. Наст. изд. С. 124.

<sup>21</sup> Харре Р. Материальные объекты в социальных мирах. Наст. изд. С. 129.

<sup>22</sup> Латур Б. Когда вещи дают отпор: Возможный вклад «исследований науки» в общественные науки. Наст. изд. С. 344.

ные атрибуты. Так, предлагая собственную референцию материальной вещи, социологические концептуализации сделали непроблематичной саму материальность.

Сходную критику описания вещности мы находим у М. Хайдеггера. В эссе «Вещь» он атакует «научное знание» (недвусмысленно отождествляя его со знанием естественно-научным), из-за которого «...вещь как вещь остается оттесненной, ничтожной и в данном смысле уничтоженной»<sup>23</sup>. Однако для Хайдеггера очевидно, что такая редукция конкретной материальной вещи – неизбежная операция научного разума: «наука сталкивается всегда только с тем, что допущено в качестве доступного ей предмета ее способом представления», говорит он, и именно из-за такой ограниченности представления «...наука делает вещь... чем-то ничтожным, не допуская вещи самой по себе существовать в качестве определяющей действительности». Ни Б. Латур, ни К. Кнорр-Цетина, ни другие теоретики «поворота к материальному» не делают вслед за Хайдеггером этого шага от осмысления феномена «развеществления» мира к критике научного знания как такового. Напротив, их задача – утвердить в дискурсе социальных наук идею «определяющей действительности вещи», «объект-центричной социальности». А потому, начавшись с требования новой концептуализации объекта средствами социальной теории, «поворот к материальному» вылился в попытку реорганизации всего социологического знания, ревизии его аксиоматики, логики и оптики.

Собственно, никакого единого направления, связанного с «поворотом к материальному», в настоящее время не существует. Существует ряд теоретических конструкций, выстроенных на фундаменте идей «объект-центричной социальности» (К. Кнорр-Цетина) и «интеробъективности» (Б. Латур), а также особое пространство дискуссий и исследований – преимущественно, исследований в области социологии знания, науки и техники. Сегодня «поворот к материальному» служит удобным именованием для особого стиля социологического теоретизирования, в фокусе которого находится проблематика вещности социального мира. Этот стиль легко узнаваем в дискурсе современных социальных наук по таким характерным пассажам: «Объекты вновь возвращаются в современную социальную теорию. В образе товаров, машин, коммуникационных технологий, продуктов питания, произведений искусства, городских территорий появляется новый мир материальностей и объектностей. Разговаривая с разумными машинами, модифицируя свое тело посредством технологий протезирования и генной инженерии, срастаясь с мобильными телефонами, блуждая в виртуальном пространстве, воплощая фантазии робототехники, мы смешиваем собственную человеческую сущность с активными и деятельными объектами в завораживающей, но приводящей в замешательство манере»<sup>24</sup>.

Дискуссия о роли материальных объектов в конституировании социальной реальности стимулируется развитием дисциплины «Наука, Техника и Общество» („Science, Technology and Society“, STS).<sup>25</sup> Именно в ней проблема «материального в социальном» и «социального в материальном» была переведена в плоскость эмпирических исследований. Бурное развитие STS, ставшее запоздалым ответом социологии на научно-техническую революцию, вернуло в социологическое теоретизирование не только интерес к материальным объектам, но и проблему преодоления дуализма – на этот раз дуализма «техники и общества».

---

<sup>23</sup> Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993.

<sup>24</sup> Pels D., Hetherington K., Vandenbergh F. The status of the object: performances, mediations and techniques // *Theory, Culture and Society*. 2002. Vol. 19. № 5 / 6. P. 1.

<sup>25</sup> Другая конвенциональная расшифровка аббревиатуры STS – «исследования науки и техники» (science and technology studies). Понятие «technology» может переводиться и как «техника», и как «технология». В данном случае речь идет не о «последовательности операций», а именно о «совокупности артефактов, выполняющих функцию опосредования», поэтому перевод «техника» кажется нам более удачным.

Каким образом исследования науки и техники способны изменить расстановку сил на поле социальной теории? Создав новый социологический дискурс, в котором материальный объект станет предметом социологического анализа, не утратив при этом своей объектности. «Например, если велосипедист, наткнувшись на камень, слетел с велосипеда, – пишет Латур, – обществоведам нечего сказать по этому поводу»<sup>26</sup>. Но стоит вступить на сцену полицейскому страховому агенту, любовнику или доброму самаритянину, сразу же рождается социологический дискурс, потому что здесь мы получаем ряд общественно значимых событий, а не только каузальную смену явлений. Представители STS не согласны с таким подходом. Они считают социологически интересным и эмпирически возможным анализировать механизм велосипеда, дорожное покрытие, геологию камней, психологию ранений и т. п., не принимая разделение труда между естественными и общественными науками, основанное на дихотомии материи и общества. Несмотря на то, что такая уравниловка („симметрия“, употребляя профессиональный жаргон) вызывает ожесточенные дискуссии в нашем лагере, все участники STS согласны относительно следующего: общественные науки должны *выйти за пределы той сферы*, которая до настоящего времени считалась сферой „общественного“». <sup>27</sup> Стоит отметить, что попытки разомкнуть каузальные ряды социологии сегодня предпринимаются не только сторонниками изучения «протяженных вещей», но и теми, кто ратует за возвращение «вещей психических». Так, социальный психолог С. Московичи, атакует социологизм с противоположной, психической, стороны декартового дуализма. Если, по Латуру, невозможно объяснить социальное социальным и потому необходимо обратиться к «протяженному» (*res extensa*), то для Московичи провал программы социологизма служит обоснованием апелляции к «психическому» (*res cogitans*). Поскольку «...психическое, выброшенное за дверь, возвращается в социологию через окно».<sup>28</sup>

Однако – если социологизм действительно содержит в своей аксиоматике некий врожденный порок тавтологии, – то каковы основания столь долгого его господства в качестве доминирующей логики социологического рассуждения? По мнению Латура, одна из причин победы социологизма (а затем и социального конструктивизма) состоит в том, что социология избежала внутреннего конфликта между «физической» и «социальной» составляющей. Существуют физическая и социальная география, физическая и социальная антропология. Психология представляет собой своего рода континуум – от психофизиологии до социальной психологии и психологии личности. Демография разрывается между проблемами статистики и проблемами морали. И даже внутри экономики существует разделение на натурализацию рынка и экономизацию природы. «Есть *социальная* социология, но где же *физическая* социология? – отмечает Б. Латур. – Социобиология, увы, не годится: она слишком воинственно противостоит общественным наукам и слишком нерефлексивна чтобы производить политически значимые „вещи“. Я бы предположил, скорее, что искомым двойником социологии должны стать именно STS, способные удержать дисциплину „на ее границах“. Они обратят внимание своих коллег, погруженных в „общественное“ и „символическое“, на чудовищную трудность рассмотрения объектов, которая требует от обществоведов принять радикальное смешение предметов, что придаст дисциплине больше сходства с остальными общественными науками.

---

<sup>26</sup> Здесь, очевидно, аллюзия на текст М. Вебера о категориях понимающей социологии: «Случайное столкновение велосипедистов мы не назовем общностно ориентированными действиями, но их предшествующие попытки избежать инцидента, а также их возможную „потасовку“ или попытку прийти к мирному „соглашению“, мы уже относим к действиям упомянутого типа». Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 509.

<sup>27</sup> Латур Б. Когда вещи дают отпор... Наст. изд. С. 343.

<sup>28</sup> Московичи С. Машина, творящая богов. М.: КСП+, 1998. С. 31–52.

Общественное – не территория, но лишь один из голосов в ансамблях, собирающих вещи на этот новый (очень старый) политический форум: постепенное создание общего мира»<sup>29</sup>.

Именно таков пафос большинства теоретиков, ассоциирующих свои работы с «поворотом к материальному» начала 80-х. Декларации («Назад к самим вещам!», «Относиться к вещи как к вещи!») и критика социологистского «мейнстрима» являются неотъемлемой частью риторики нового поворота, однако, принадлежат, скорее, внешней оболочке его исследовательской программы. Тогда как ее твердое ядро составляют концептуальные построения современной *акторно-сетевой теории* (ant).

Хотя сам термин «акторно-сетевая теория» принадлежит не ему, Брюно Латур вполне может считаться ее основателем. Любопытно, что первая получившая известность работа Латура (в соавторстве со Стивом Вулгаром) вышла в 1979 г. под названием «Жизнь лаборатории: социальное конструирование научных фактов»<sup>30</sup>. Вполне в духе критической социологии Латур и Вулгар показали, каким образом ученые создают в процессе своей деятельности нечто, чему затем приписывается объективное существование. Так, новый научный факт «тиреотропин-релизинг-гормон» при ближайшем рассмотрении оказался ситуативным феноменом, сконструированным в определенном социально-культурном контексте. Однако уже во втором издании данной работы (1986 г.) слово «социальный» из названия исчезает.

Латур приводит следующий комментарий: «Что пошло не так? Поначалу идея выглядела совсем неплохо: было забавно, оригинально и поучительно использовать слово „конструктивизм“ для характеристики тех исследований науки и техники, которыми я занимался. Лаборатории действительно выглядели гораздо интереснее, будучи описанными как стройплощадки, а не как темные подземелья, где хранятся мумифицированные законы науки. И прилагательное „социальный“ также поначалу казалось очень удачно выбранным, поскольку я и мои коллеги помещали почтенную работу ученых в горячую ванну культуры и общества, с тем, чтобы снова вдохнуть в нее молодость и жизнь. Однако все пошло вкривь и вкось: мне пришлось со стыдом соскрести слово „социальный“ из подзаголовка „Жизни лаборатории“, как изображения Троцкого стирались с фотографий парадов на Красной площади».<sup>31</sup> На смену социальному конструктивизму в работах Латура приходит конструктивизм, который можно назвать *«реципрокным»*: материальное и социальное находятся в процессе непрерывного взаимного конструирования. «Давно ставшая тривиальной тема социального конструирования, – пишет Латур, – перевернулась теперь с ног на голову: ученые стараются выявить ингредиенты, которые лежат в основе того или иного общественного порядка. Что было причиной, стало предварительным следствием. Общество не состоит из социальных функций и факторов...»<sup>32</sup>

Однако назвать материальные объекты «ингредиентами общественного порядка» и ввести их в рассмотрение социологии недостаточно для того чтобы преодолеть дуализм материального и социального. Необходимо заново исследовать саму природу вещи.

«После произошедшего в эпоху модерна раскола между объективным миром и миром политического, – пишет Латур, – вещи больше не служат товарищами, коллегами, партнерами, соучастниками или союзниками в поддержании социальной жизни. Объекты могут выступать теперь только в трех качествах: как невидимые и надежные инструменты, как детерминирующая инфраструктура и как проекционный экран».<sup>33</sup> В качестве инструментов они передают социальную интенцию, которая проходит через них, без всякого на них влияния. В роли элементов инфраструктуры они образуют материальный фундамент, «на котором затем над-

<sup>29</sup> Латур Б. Когда вещи дают отпор... Наст. изд. С. 358.

<sup>30</sup> Latour B., Woolgar S. Laboratory life: The social construction of scientific facts. London: Sage, 1979.

<sup>31</sup> Латур Б. Надежды конструктивизма. Наст. изд. С. 365.

<sup>32</sup> Латур Б. Когда вещи дают отпор... Наст. изд. С. 350.

<sup>33</sup> Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 184.

страивается социальный мир знаков и репрезентаций». Как проекции они могут только служить предметом утонченной игры в описания. Латур иллюстрирует данное положение на примере окошка кассира, через которое общаются посетитель и служащий в почтовом отделении: «В качестве инструмента, окошко кассира призвано предотвращать нападения клиентов на сотрудников и не имеет никакого дополнительного назначения; оно не оказывает определяющего влияния на взаимодействие, а только облегчает или затрудняет его. Как инфраструктура, окошко неразрывно связано со стенами, перегородками и компьютерами, образуя материальный мир, полностью формирующий остальные отношения точно так же, как вафельница формирует вафлю. Как проекционный экран, то же окошко кассира лишается стекла, древесины, отверстия и всего остального – оно становится знаком, отличным от этих прозрачных панелей, барьеров, остекленного выступа, перегородок, тем самым, сигнализируя о различиях в статусе или свидетельствуя о модернизации общественной службы. Раб, господин или субстрат знака – в каждом случае сами объекты остаются невидимыми, в каждом случае они асоциальны, маргинальны и неспособны участвовать в созидании общества».<sup>34</sup> В результате этого разрыва объекты уже не могут вернуться в мир социального, не разрушив его.

Чтобы преодолеть разрыв, необходимо переписать объект, сделать его частью гетерогенной сети отношений, вернуть ему статус «конституенты действия». Для этого понятия «субъекта», «актора», «агента» не подходят, как слишком человеческие. По Латуру, «действовать – значит опосредовать действия другого»<sup>35</sup>. Именно поэтому для описания агентности материального объекта Латур обращается к семиотике. Из структуралистской теории А.-Ж. Греймаса он заимствует идею «актанта». Актант понимается как предмет или существо, совершающее действие или подвергающееся действию. Согласно Л. Теньеру у которого заимствовал данный термин сам Греймас, «актанты – это существа или предметы, участвующие в процессе в любом виде и в любой роли, пусть даже в качестве простых фигурантов или самым пассивным образом»<sup>36</sup>. Между «Я упал» и «Камень упал» в лингвистическом отношении нет разницы. И «Я» и «Камень» – актанты, включенные в сеть разнородных агентностей. Но вслед за идеей «действующего» в ревизии нуждается и идея «действия». Что теперь является конституентой социального действия, если не связываемый с ним субъективно значимый смысл?

В программной статье «Об интеробъективности» Латур предлагает свое решение этой классической социологической проблемы. Его исходный вопрос: в чем принципиальное отличие интеракции людей от взаимодействия животных? На первый взгляд, такой вопрос должен показаться ложным теоретику акторно-сетевого подхода, ратующему за устранение модернистской дихотомии субъекта и объекта. Но для Латура подобная постановка проблемы вовсе не служит обоснованию превосходства людей над животными. Он старательно игнорирует всякие апелляции к «смыслу» или «символическим интерпретациям». Главное отличие человеческой интеракции от не-человеческой – повсеместное присутствие материальных предметов: «Почему бы не обратиться к тем бесчисленным объектам, которые отсутствуют у обезьян и повсеместно присутствуют у людей, локализируя или глобализируя взаимодействие? Как можно воспринимать кассу без окошка, стекла, двери, стенок, стула? Как можно подводить ежедневный баланс офиса без формул, квитанций, счетов, бухгалтерских книг – и как можно упускать из виду прочность бумаги, долговечность чернил, нанесенные на клавиши буквы, практичность степлеров и громкие удары штемпеля? Не заблуждаются ли социологи, пытаясь

---

<sup>34</sup> Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 185.

<sup>35</sup> Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 190.

<sup>36</sup> Греймас А. Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь//Семиотика / Сост., вст. ст. и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983.

сделать социальное из социального, подлатав его символическим, не замечая присутствия объектов в тех ситуациях, в которых они ищут лишь смысл?»<sup>37</sup>.

Здесь следует особое внимание обратить на две характеристики объектов – их способность «локализовать» и «глобализовать» взаимодействие. Вернемся ненадолго к категориальному аппарату работ И. Гофмана. Для описания локальной интеракции Гофман использует понятие «фрейм» и более общее – «framework» (система фреймов). Фрейм задает ограничения взаимодействия в пространстве и времени, выступая одновременно и как «матрица возможных событий» и как «схема интерпретации происходящего» взаимодействующими индивидами. Латур, заимствуя у Гофмана эту категорию, приводит следующий пример: «Когда я покупаю на почте марки и обращаюсь к кассиру через окошко, рядом со мной нет моей семьи, коллег или начальников, дышащих мне в затылок. И, слава богу, официант в этот момент не рассказывает мне историй о теще или зубах своей благоверной! Такое счастье недоступно бабуину. Любой другой бабуин может вмешаться в любое взаимодействие»<sup>38</sup>.

Таким образом, человеческую интеракцию от взаимодействия обезьян отличает именно ее *фреймированность*, локализованность, отгороженность от событий «внешнего» – по отношению к ситуации соприсутствия – мира. Но фрейм не существует лишь в сознании, как ментальная структура или чистая схема интерпретации. Он укоренен (anchored) в материальных предметах. «Что-то, – пишет Латур, – препятствует одновременно распространению человеческого взаимодействия „вовне“ и вмешательству в него „извне“. Является ли эта двусторонняя мембрана нематериальной, наподобие фрейма (понимаемого метафорически (как „рамка социального взаимодействия“), или материальной, вроде перегородки, стены или строения (взятых здесь в своем буквальном смысле)?»<sup>39</sup> Если сторонники таких наследующих Гофману направлений как когнитивная социология (Э. Зерубавель) и конверсативный анализ (Э. Щеглофф, Х. Сакс) акцентируют нематериальность фрейма, его укорененность в структурах коммуникации<sup>40</sup> и когнитивных схемах<sup>41</sup>, то для акторно-сетевого подхода значимы именно вещные, материальные ограничения интеракции. Таким образом, «framework» по Латуру – это вся совокупность «редукторов социального взаимодействия», фрагментирующих и делающих его парциальным, это обобщенная характеристика всех *локализирующих* его ограничений.

Однако есть и еще одно существенное отличие человеческого взаимодействия, которое Гофман, сфокусировавшись на ситуациях соприсутствия, оставил за кадром. По мнению Латура, гофмановская теория фреймов отказывается заглядывать в «пропасть, которая отделяет индивидуальное действие от всего трансцендентного общества». Фреймы не дают ответа на вопрос о том, что связывает взаимодействия, протекающие в различных локальностях, значительно удаленных друг от друга. «В отличие от социального взаимодействия обезьян, – отмечает Латур, – взаимодействие людей всегда кажется более размытым. Нет ни одновременности, ни непрерывности, ни гомогенности.

Взаимодействие людей не ограничивается их телами, которые соприсутствуют в одном времени и пространстве, связанные взаимным вниманием и общей деятельностью; для понимания человеческого взаимодействия приходится обращаться к другим элементам, другому времени, другим местам и другим акторам».<sup>42</sup> Иными словами, помимо локализирующих характеристик, у социального взаимодействия есть характеристики «глобализующие», распространяющие, делающие его повсеместным.

<sup>37</sup> Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 184.

<sup>38</sup> Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 181.

<sup>39</sup> Там же. С. 175.

<sup>40</sup> Schegloff E. Goffman and the Analysis of Conversation // Sage Masters of Modern Social Thought / Ed. by G. A. Fine, G. Smith. Vol. IV. London: Sage Publications, 2000.

<sup>41</sup> Zerubavel E. The Fine Line: Boundaries and Distinctions in Everyday Life. New York: Free Press, 1991.

<sup>42</sup> Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 182.

Если «фрейм» – это «редуктор интеракции», то «сеть» – ее «дистрибьютор». Так в латуровской социологии понятие «framework» дополняется понятием «network». «Взаимодействие, – пишет Латур, – выражается в противоречивых формах: оно представляет собой *систему фреймов* (которая ограничивает интеракцию) и *сеть* (которая распределяет одновременность, близость и „персональность“ взаимодействий)»<sup>43</sup>.

Подобно локализации, глобализация взаимодействия возможна благодаря его материальному опосредованию. Объекты одновременно и задают рамки интеракции, и размывают их. Латур приводит следующий пример: «Мы говорим, не придавая этому большого значения, что вовлечены во взаимодействие „лицом-к-лицу“. Действительно, вовлечены. Но одежда, которую мы при этом одеваем, привезена из другого места и произведена довольно давно; стены, в которых мы находимся, были спроектированы архитектором для клиента и сооружены рабочими – людьми, которые сейчас отсутствуют, хотя их действия вполне ощутимы. Сам человек, к которому мы обращаемся – продукт истории, выходящей далеко за пределы данного „фрейма“. Если вы попытаетесь нарисовать пространственно-темпоральную карту всего, что присутствует во взаимодействии, и набросать список всех, кто так или иначе в нем участвует, вряд ли вы получите хорошо различимую структуру; скорее – спиралевидную сеть с множеством самых различных дат, мест и людей»<sup>44</sup>.

Для того чтобы фреймировать взаимодействие, необходимы перегородки и укромные места. Но сами эти места связаны между собой посредством объектов-медиаторов в гетерогенную сеть, которая смешивает времена, пространства и актантов. Вернувшись к примеру с окошком на почте, можно было бы сказать, что встроенное в него переговорное устройство является элементом сети подобных устройств и всех связанных с ним взаимодействий. Оно не просто разделяет клиента и служащего, обуславливая специфичность ситуации их коммуникации, но опутывает сетью отношений клиентов, служащих, представителей фирмы, поставляющей данные устройства, сотрудников охраны (следающих за тем, чтобы пуленепробиваемое стекло обеспечивало служащим необходимый уровень безопасности в случае нападения), представителей экологического и пожарного надзора (контролирующих безопасность данного устройства в эксплуатации), а также все многочисленные формы оборудования используемого для транспортировки, обслуживания и ремонта данного переговорного устройства. В описанную сеть следует также включить все те объекты, которые передаются через окошко в стекле – поскольку окошко сделано из расчета габаритов этих объектов.

Всякий раз, когда мы наклоняемся к переговорному устройству и передаем через узкую щель в стеклянной перегородке заказное письмо, мы встраиваемся в глобальную сеть отношений и интеракций, выходящую далеко за пределы наличной ситуации действия, ограниченной рамками определенного фрейма. Сети лишают социальное взаимодействие той определенности, которую сообщают ему фреймы – таков вывод Латура.

Подобное акторно-сетевое описание взаимодействия имеет ряд следствий, значимых для фундаментальной социальной теории. Теперь интеракция не может служить «отправной точкой», поскольку в случае людей – она всегда помещена в некоторую систему фреймов, которая размывается системой сетей, идущих через нее во всех направлениях. Если взаимодействие – не исходный, а конечный пункт теоретизирования, мы получаем принципиально иной взгляд на социальность, противоположный взгляду социологов и социальных конструктивистов. «Всякий раз, – пишет Латур, – когда мы переходим от комплексной социальной жизни обезьян к нашей собственной социальной жизни, нас поражает множество действующих одновременно сил, размещающих соприсутствие в социальных отношениях. Переходя от одного к

---

<sup>43</sup> Там же. С. 176.

<sup>44</sup> Там же.

другому, мы движемся не от простой социальности к комплексной, а от *комплексной* социальности – к *сложной*».<sup>45</sup> Хотя два этих прилагательных имеют общую этимологию («*complexe*» и «*comprlique*»), они позволяют Латуру развести две формы социального существования. «Комплексное» означает одновременное присутствие во всех взаимодействиях значительного количества агентностей, которые не могут быть рассмотрены дискретно. «Сложное» используется для обозначения последовательного присутствия агентностей, «которые могут быть исследованы одна за другой, и сложены друг в друга на манер черного ящика».

Следовательно, взаимодействие людей – как совокупность разделенных и распределенных в пространстве и времени агентностей – являет собой пример сложной, а не комплексной социальности (которая, скорее, присуща взаимодействию обезьян). Данную характеристику Латур экстраполирует на человеческое общество как таковое, «составленное, сконструированное, собранное, устроенное, слепленное и смонтированное». Совместное существование людей невозможно представить без множества связанных сетью интеробъективности артефактов, не «отражающих» социальное (так, как будто социальное пребывало в каком-то другом месте), а составляющих его субстрат.

Этот взгляд на социальность Б. Латур возводит к Габриэлю Тарду, точнее – к его работе «Монадология и социология»<sup>46</sup>. Спустя столетие Тард празднует победу над Дюркгеймом: общество начинает рассматриваться не как онтологически данная тотальность, а как сложная система монад, пригнанных друг к другу, соединяющих материальное и нематериальное в гетерогенную сеть. Именно поэтому акторно-сетевая теория предпринимает попытку изъятия из словаря социологии дюркгеймовской категории «социальное» и замену ее понятием «*ассоциации*»<sup>47</sup>.

Ассоциация множества материальных и нематериальных элементов (монад) – это гибрид, приобретающий свои свойства не в силу изначальной целостности, а благодаря индивидуальности каждого ингредиента и их специфических отношений, конфигураций. Латуровская теория, таким образом, связана через социологию Тарда (которого Латур называет «дедушкой акторно-сетевого анализа») со стоящей за ней лейбницевской онтологией, акцентирующей отношения гетерогенных элементов в составе социальной жизни, их релятивную природу.

Находясь в определенном отношении друг к другу, тела-элементы (а Латур говорит именно о протяженных телах) формируют *пространство*. Пространство не предшествует телам – оно есть порядок их сосуществования. Следовательно, всякая «ассоциация» (как порядок, конфигурация, сеть отношений) имеет пространственные характеристики. Но это уже не ньютоновское «пространство-вместилище», подобное гигантскому аквариуму, существующему независимо от своего содержания, и не кантовское «пространство как априорная форма восприятия». Латур пишет: «Мы связываем свои рассуждения с третьей, лейбницеанской традицией, рассматривающей пространство и время как выражения некоторых отношений между самими объектами. Но вместо единого Пространства-Времени произведем столько пространств и времен, сколько существует отношений»<sup>48</sup>. Отсюда тезис о множественности пространств и о самостоятельности «пространства сетей», отличного от «пространства мест».

Впрочем, для Латура этот топологический вывод не является центральным. Гораздо больше его занимают те последствия для аксиоматики социологии, которые влечет за собой «возвращение материальности». Он довольно поспешно (возможно, слишком поспешно) переходит от концептуализации материальной вещи как «актанта» к многочисленным теоретическим импликациям этого шага. Обращаясь к фундаментальным трудам Тарда и Лейбница, он

<sup>45</sup> Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 180.

<sup>46</sup> Latour B. Gabriel Tarde and the end of the social // The Social in Question / Ed. by P. Joyce. London: Routledge, 1999.

<sup>47</sup> Latour B. The Powers of Association // Power, Action and Belief: a New Sociology of Knowledge? / Ed. by J. Law. London: Routledge and Kegan Pol, 1986.

<sup>48</sup> Latour B. Trains of thought: Piaget, formalism and the fifth dimension // Common knowledge. 1997. № 6/3.

оставляет «прикладную» работу по прояснению природы и статуса объекта другим теоретикам акторно-сетевого подхода.

У истоков акторно-сетевой теории изначально стояли три автора – Брюно Латур, Джон Ло и Мишель Каллон. С середины 90-х годов принципы разработанного ими направления активно используются в социологических исследованиях информационных систем<sup>49</sup> и геномной инженерии<sup>50</sup>. В социальной географии находит применение предложенная Латуром метафорика «множественных пространств» и «гетерогенных сетей»<sup>51</sup>, а также ряд положений «социальной топологии» Дж. Ло<sup>52</sup>. В экономике и экономической социологии особенно продуктивной оказалась критика Мишелем Каллоном разноликих «сетевых подходов», игнорирующих включенность материальных объектов в сети обмена и взаимодействия<sup>53</sup>.

В конце 90-х гг. выделились две ветви акторно-сетевого подхода.

Парижская ветвь, представленная Латуром и Каллоном развивает общетеоретические и методологические интенции *ant*. Предложенная Латуром «реляционная онтология» (или «онтология гибридного мира») на сегодняшний день составляет значимую альтернативу социальному конструктивизму П. Бурдьё. Вторая, ланкастерская ветвь акторно-сетевой теории представлена в первую очередь работами Джона Ло, а также исследованиями Эннмари Мол, Мадлен Акрич, Нильса Альбертсена, Виктории Синглтон. Хотя далеко не все эти социологи работают и преподают в Ланкастере, их тексты составляют общий корпус исследований науки и техники, объединенных предложенной Джоном Ло теоретической рамкой. Ланкастерскую версию акторно-сетевого подхода от парижской отличает обилие проводимых эмпирических исследований, а также некоторые теоретические отступления от магистральной (латуровской) линии акторно-сетевого анализа. Эти отступления иллюстрируют собственно теоретический потенциал исследований Дж. Ло и его коллег.

Первое и наиболее любопытное отличие работ Ло состоит в том, что у Латура и Каллона «сеть» – это социологическое понятие, характеристика глобализованного, распределенного в пространстве и времени взаимодействия, поделенного на дискретные агентности и опосредованного объектами. Ло ограничивается семиотической интерпретацией «сети», делая шаг навстречу постструктурализму, распространяя на материальные объекты ту же релятивистскую логику рассуждений, какую постструктуралистская семиотика применила к элементам знаковых систем.<sup>54</sup> Как замечает Ло, «семиотика (в европейском десоссюровском варианте синхронической лингвистики) показывает, что значение всякого слова относительно, то есть конституировано отношениями различия между данным словом и другими связанными с ним словами. Например, слова „собака“ и „кошка“. Каждое из этих слов приобретает значение благодаря отличию от другого и каждое из них соотносимо с иными именами: „собака“, „кошка“, „волк“, „щенок“ и т. д. Значение слова произвольно (*arbitrary*), хотя и сильно детерминировано сетью отношений различия. По сути, оно представляет собой результат этих отношений»<sup>55</sup>. Также и материальные объекты – суть «относительные случайности», детерминированные отношениями различия. «Объекты, – пишет Ло, – являются „производными“ некоторых

<sup>49</sup> Tatnall A., Gilding A. Actor-Network Theory and information systems research // 10th Australasian Conference on Information Systems. Wellington, 1999.

<sup>50</sup> Бертильсон М. Второе рождение природы: последствия для категории «социальное» // Социс. 2002. № 9.

<sup>51</sup> Amin A., Thrift N. Cities. Reimagining the Urban. London: Blackwell, 2002. P. 82–88.

<sup>52</sup> Thrift N. Spatial formations. London: Sage, 1996.

<sup>53</sup> Callon M. Introduction // The Laws of the Markets / Ed. by M. Callon. Oxford: Blackwell, 1998. См. также: Старк Д. Интервью. Экономическая социология. 2001. Том 2. № 5.

<sup>54</sup> Law J. After *ant*: Topology, Naming and Complexity // Actor-Network and After / Ed. by J. Law, J. Hassard. Oxford: Blackwell and the Sociological Review, 1999. P. 4.

<sup>55</sup> Ло Дж. Объекты и пространства. Наст. изд. С. 224.

*устойчивых множеств или сетей отношений*. Наше фундаментальное допущение таково: объекты сохраняют свою целостность до тех пор, пока отношения между ними стабильны и неизменны».

Рассуждения Ло о неизменности и изменяемости объекта сродни рассуждениям де Соссюра об изменчивости и неизменности знака<sup>56</sup>. Ло, как и де Соссюр, подчеркивает связь свойства изменчивости / неизменности объекта (знака) с дискретностью / непрерывностью его существования. Объект существует дискретно и обособленно лишь благодаря непрерывности своих связей с другими объектами. «Например, корабль, – пишет Ло, – может быть представлен в виде сети – сети остовов, рангоутов, парусов, канатов, пушек, складов продовольствия, кают и самой команды. С другой стороны, при более обобщенном рассмотрении, навигационная система, со всеми ее эфемеридами, астролбиями и квадрантами, таблицами расчетов, картами, штурманами и звездами, также может быть рассмотрена как сеть. Далее, при еще более отстраненном анализе, вся португальская имперская система в целом, с ее портами и пакгаузами, кораблями, военными диспозициями, рынками и купцами может быть описана в тех же категориях».<sup>57</sup>

В данном описании все предметы исследования рассматриваются как «объекты» – корабль, навигационная система, португальская империя. Объектами их делают устойчивые связи и отношения друг с другом. Особый акцент на устойчивости: «Штурманы, противники-арабы, ветра и течения, команда, складские помещения, орудия: если эта сеть сохраняет устойчивость, корабль остается кораблем, он не тонет, не превращается в щепки, напоравшись на тропический риф, не оказывается захваченным пиратами и уведенным в Аравийское море. Он не пропадает, не теряется, до тех пор, пока команда не сломлена болезнями или голодом. Корабль определяется своими отношениями с другими объектами и акторно-сетевой анализ направлен на исследование стратегий, которые производят (и, в свою очередь, произведены) этой *объектностью*, синтаксисом или дискурсом, определяющими место корабля в сети отношений»<sup>58</sup>. Разрыв сети отношений кладет конец дискретной объектности.

Все вышесказанное – пример успешного импорта «семиотической метафоры» в социологическое описание. Объекты здесь уподобляются знакам; связующие их отношения – отношениям означания. Приняв точку зрения Ло, мы уже не можем повторить вслед за Марксом, что «*объект есть ансамбль социальных отношений*». Объект действительно определяется сетью отношений различия, но отношения эти не могут быть однозначно идентифицированы как «социальные» (например, «социальные отношения производства и потребления»). Скорее, «социальность» – равно как и «объектность» – является продуктом данных отношений. «Общество» не присутствует имманентно в сети отношений, узловыми точками которой являются «объекты», оно не детерминирует их и не скрывает истинного источника причинности. Отношения предшествуют всякой сущности – как «социальной», так и «материальной».<sup>59</sup>

Обращение к семиотической метафоре в социологической теории – явление столь распространенное, что сам по себе этот теоретический ход Ло вряд ли можно назвать оригинальным. Его эвристическая ценность обусловлена отказом от радикального социологизма, который всегда в той или иной степени имплицитно используется семиотическими аналогиями. Впрочем, эта обновленная версия семиотической метафоры (примененной к материальным объектам в социальном мире) вряд ли составила бы заметную альтернативу внушительным теоретическим построениям «парижской ветви» акторно-сетевого подхода, если бы не дополнялась продуктивной и оригинальной *топологической метафорой*. Сеть отношений трактуется Ло как топо-

<sup>56</sup> де Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Под ред. Р. И. Шор. М.: КомКнига, 2006. С. 81–85.

<sup>57</sup> Ло Дж. Объекты и пространства. Наст. изд. С. 227.

<sup>58</sup> Там же.

<sup>59</sup> Ло неслучайно усматривает в тезисе «отношения предшествуют сущности» сходство с сартровским принципом «существование предшествует сущности».

логическая система, определенная «форма пространственности». Пространство – есть порядок объектов, объекты – суть пересечения отношений. Изменение отношений, приводит не только к изменениям самих объектов, но и к изменениям «форм пространственности». Изучение формы и соотношений объектов входит в задачи дисциплины, которую Лейбниц называл «*analysis situs*» – топологии. Ло формулирует исследовательскую программу, которую можно назвать «социальной топологией». Ее основные положения таковы: «Во-первых, – пишет Ло, – я настаиваю на том, что производство объектов... имеет пространственные следствия; и, далее, что пространство не самоочевидно и не единично, но имеются *множественные формы пространственности*. Во-вторых, я предполагаю, что использование объектов само создает *пространственные условия возможности и невозможности*. Пространственности порождаются и приводятся в действие расположенными в них объектами – именно этим определяются границы возможного. (Следуя первому утверждению, стоит упомянуть, что пространственные возможности по своему характеру также множественны.) Существуют различные формы пространственностей; те, о которых говорим мы, включают в себя регионы, сети и потоки. В-третьих, я предполагаю, что эти *пространственности и объекты, которые заполняют и создают их, плохо совместимы, т. е. находятся в напряженных отношениях*».<sup>60</sup>

Вернемся к примеру с португальским галеоном. Как объект, корабль пространственно или топологически множественен. («Он занимает – а также преобразует – два типа пространства: географическое и сетевое».) Он неизменен в каждой из форм пространства и сохраняется в обоих: физически – в географическом пространстве, функционально или синтаксически – в сетевом пространстве. Двигается он только в географическом пространстве. Напротив, в пространстве сетей он неподвижен, никакого изменения отношений между компонентами не происходит. (А если происходит, значит, что-то не так, значит это уже другой объект.) Именно неподвижность в сетевом пространстве делает возможным его перемещение в пространстве географическом, позволяя переплывать из Калькутты в Лиссабон с грузом специй. Перемещение из точки *A* в точку *B* некоторого объекта происходит благодаря устойчивости отношений между различными элементами сети, в которой этот объект находится. Если произойдет смещение в пространстве сетей (то есть, если изменятся конституирующие объект отношения), корабль просто перестанет быть «кораблем *X* с грузом *Y*, следующим курсом *Z*», а станет чем-то иным: обломками корабля, «летучим голландцем» или просто деревом для костра.

Такое «смещение» в топологии называется «катастрофой». Можно указать на две характеристики «катастрофы»: разрыв непрерывности формы (дисконтинуальность) и необратимость. Тополог Рене Том проиллюстрировал это следующим примером: «Если форма *A* – лист бумаги и если я его сминаю, то есть придаю ему вид *B*, *A* может быть непрерывно деформирован в *B* и наоборот *B* в *A*, если листок разгладить. *A* и *B* – два вида одного объекта. Но если я разрываю листок, т. е. придаю ему вид *C*, я получаю новый объект, поскольку переход *A* в *C* необратим».<sup>61</sup> Разрыв формы (на языке топологии – «утрата гомеоморфизма») дает начало новой форме, происходит «морфогенез». В терминах Ло: смещение положения корабля в сетевом пространстве означает разрыв его сетевой «формы», переход становится необратимым и корабль перестает быть кораблем, становясь чем-то иным.

Обратимся к примеру, весьма далекому от построений Дж. Ло, зато близкому социологической классике. Королевский дворец – как объект – неподвижен и в пространстве географическом, и в пространстве сетей. Дворец «возможен» потому что есть архитектор, способный его себе вообразить, есть зодчие, обладающие необходимой квалификацией, есть материалы, пригодные для строительства, есть монарх, изъявивший желание иметь летнюю резиденцию, есть двор, готовый переехать в нее, наконец, есть место, отведенное под этот дворец, и сред-

<sup>60</sup> Ло Дж. Объекты и пространства. Наст. изд. С. 225.

<sup>61</sup> Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез. М.: Логос, 2002. С. 15.

ства, выделенные на его строительство. Допустимы изменения в данной «сетевой формуле» объекта, которые не приведут к утрате им своей формы: один монарх сменится другим, изменится общественный вкус и некоторые залы будут перестроены, английский парк будет заменен французским, но объект останется королевским дворцом, потому что при всех трансформациях он сохраняет некое «ядро устойчивых отношений». Другие же изменения в «сетевой формуле» объекта станут «катастрофой» – например, революция и крах монархии. Тогда произойдет смещение в сетевом пространстве: дворец станет музеем, складом, парламентом или руинами.

Превращение дворца в руины – явление морфогенеза, образования новой формы. Значит ли это что больше никакие отношения не конституируют заброшенные развалины некогда пышного дворца? Отнюдь нет. Просто теперь данные отношения не «производят» публичную социальность – хотя руины вполне могут быть вовлечены в производство иных форм социальности, следы которой остаются в виде надписей на их стенах и разнообразного мусора на остатках пола – но этот объект так же занимает «место» в сетевом пространстве, имеет свою сетевую форму<sup>62</sup> Допустим теперь, что руины эти никогда не были дворцом, что они изначально построены как руины, дабы радовать глаз гостей в парке местного аристократа. Такие «искусственные» руины занимают принципиально иное место в сетевом пространстве и потому не тождественны руинам дворца, даже если идентичны им «в материале». Точно так же руины крепости не тождественны декорациям руин крепости, построенным специально для съемок исторического фильма.

Объект остается тождественным себе пока (при всех трансформациях) сохраняет некое «ядро устойчивых отношений». Что происходит, если объект, потеряв «ядро устойчивых отношений», трансформируется до неузнаваемости? Разрыв формы. Однако то, что является разрывом формы в пространстве сетей, не является им в иной топологической системе, описанной Ло, в *пространстве потоков*. В этом пространстве изменение отношений – необходимое условие конституирования объекта. Однако данный феномен составляет отдельный предмет исследований социальной топологии.

На примере исследований Дж. Ло можно убедиться в том, как последовательная концептуализация материального объекта делает доступной для социологии ряд принципиально новых теоретических ресурсов. В этом – ценность «поворота к материальному» для современной социальной теории. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что в области исследований материальности реальные успехи теоретиков «поворота» гораздо скромнее, нежели их первоначальные декларации. Объявленный разрыв с классической социологической традицией – тоже, скорее, риторическая формула: чтобы в этом убедиться достаточно провести сравнительный анализ «классических» и «постклассических» подходов, представленных в первой и второй части сборника.

Так, топологическая социология легко вписывается в ряд социологических теорий, объединенных общим интересом к проблематике социальной «формы», ее устойчивости и изменчивости. От формальной социологии Г. Зиммеля до фрейм-анализа И. Гофмана не прекращались попытки создания фундаментальной социальной морфологии, науки о формах социальной координации. Топология, с ее стремлением дать строгое (но не количественное) описание изменяющихся форм, становится притягательным теоретическим ресурсом для осмысления современного опыта мира – подвижного, изменчивого (или «текущего» в терминах Дж. Ло). Сходным образом Б. Латур отталкивается от классической социологической постановки проблемы действия и взаимодействия, используя при этом философские ресурсы

---

<sup>62</sup> Ее специфика была блестяще интерпретирована Г. Зиммелем. См.: Зиммель Г. Руина // Избранное. Т. 2. М.: Юрист, 1996.

(«реляционная онтология» Г. В. Лейбница, «философия процесса» А. Н. Уайтхеда), которые были освоены в социологии задолго до «поворота к материальному». Например, обращение к Лейбницу для обоснования релятивистского способа теоретизирования роднит работы Латура с постоянным объектом его критики – социальным конструктивизмом П. Бурдьё.

Впрочем, вопрос о том, чего больше между «классическими» и «постклассическими» концептуализациями – сходств или различий, – мы оставляем открытым. Одно несомненно: «поворот к материальному» оказывает заметное влияние на словарь и оптику дисциплины, открывая, по меткому выражению К. Кнорр-Цетины, новые горизонты социологического воображения. Его эвристическая ценность обусловлена способностью «схватить» в согласованных понятиях пока еще смутные дотеоретические интуиции повседневного опыта, сделав социальную науку более чувствительной к изменениям своего предмета.

Здесь можно провести аналогию с популяризацией теорий глобального мира. Как замечает А. Ф. Филиппов, «явления этого рода [всемирной взаимосвязи] фиксируются социальными учеными с давних пор. Однако в наши дни в этом понятии акцентируется также и момент небывалого прежде социального единства мира, а не просто мирового хозяйства. И в таком виде понятие глобализации стало популярным, в основном, благодаря усилиям сравнительно узкого круга влиятельных теоретиков, впечатленных, возможно, не только политическими или экономическими тенденциями современной жизни, но и новым пространственным видением мира в его слабо расчлененном единстве, которое стало формироваться к концу 60-х – началу 70-х гг., между прочим, благодаря все более частым и успешным космическим полетам (участники их, к которым было привлечено широкое внимание публики, часто говорили о том, что из космоса не видно никаких границ между странами и народами, Земля и человечество представляются едиными)».<sup>63</sup>

Новая возможность *увидеть* лишь воображаемое прежде социальное единство мира обеспечила социологическим теориям глобализации – существовавшим задолго до космических полетов – сильную интуитивную достоверность. Так же и новые концептуализации вещи, принесенные «поворотом к материальному», при всей их теоретической спорности, обладают несомненным преимуществом интуитивной достоверности. Материальные объекты, одновременно связывающие и разделяющие человека с другими людьми, вещи, которые выполняют функцию «медиаторов» и «стабилизаторов» социальной жизни, изменчивые и неизменные предметы повседневного обихода – все эти образы материального сегодня неотделимы от нашего интуитивного понимания социальности. Как бы банально не прозвучал такой вывод: «Мы живем в мире объектов...». И сама банальность этой фразы – свидетельство согласованности аксиом объект-центричной социологии с современным опытом мира.

---

<sup>63</sup> Филиппов А. Ф. Теоретическая социология // Теория общества. Сборник / Пер. с нем., англ., вступ. статья, сост. и общая ред. А. Ф. Филиппова. М.: Канон-Пресс-Ц, 1999. С. 16–17.

## Часть I

### Вещь в социологии

#### Георг Зиммель

#### Ручка. Эстетический опыт

Современные теории искусства решительно подчеркивают, что подлинной задачей живописи и пластики является пространственное изображение вещей. В этой связи легко упустить из виду что пространство внутри картины представляет собой совершенно иной образ, чем то, реальное, в котором мы живем. Ибо если к предмету внутри этого пространства можно прикоснуться, то на картине его можно только созерцать; если каждая действительная часть пространства ощущается нами как часть бесконечности, то пространство картины – это замкнутый в себе мир; если реальный предмет состоит во взаимодействии со всем, что движется или покоится рядом с ним, то содержание произведения искусства обрывает эти связи и объединяет в самодостаточное единство лишь собственные элементы – его бытие протекает по ту сторону реальности. Из опыта действительности, откуда произведение искусства, разумеется, берет свое содержание, оно создает свое суверенное царство. В то время как холст и краски на нем представляют собой части действительности, существование возникающего с их помощью художественного произведения протекает в идеальном пространстве, которое так же мало соприкасается с реальным, как могут соприкасаться друг с другом звуки и запахи.

С каждым предметом утвари, с каждой вазой, в той мере, в какой они рассматриваются как эстетическая ценность, дело обстоит точно так же. В качестве осязаемого, имеющего вес, включенного в действия и связи окружающего мира куска металла, ваза представляет собой часть действительности, тогда как ее художественная форма ведет совершенно отдельное, покоящееся в себе существование, для которого ее материальная действительность является всего лишь носителем. И только в силу того, что сосуд, в отличие от картины или статуи, задуман не как подобная острову неприкосновенность, а предназначен для исполнения определенной, пусть и символической цели, – его берут в руки, включают в практические жизненные движения, – он одновременно находится в двух мирах. Если в чистом произведении искусства момент действительности полностью нейтрализован, можно сказать, сведен на нет, то к вазе он предъявляет свои притязания, ибо с ней производятся определенные манипуляции: ее наполняют и опустошают, передают друг другу и переставляют с места на место.

Такое двойственное положение вазы нагляднее всего выражает ее ручка. Это та часть вазы, за которую ее берут, поднимают, наполняют; она зримо вторгается в мир действительности, в мир отношений ко всему внешнему, который для произведения искусства как такового не существует. Однако не только корпус вазы должен подчиняться требованиям искусства, а ее ручки – не простые рукоятки, безразличные, подобно блокам картинной рамы, к своей эстетической форме. Ручки, которые связывают вазу с бытием по ту сторону искусства, одновременно включены в художественную форму, и, независимо от своего практического назначения, должны быть оправданы как чисто художественная конструкция, составляющая с вазой *один* эстетический образ. Это двойное значение и характерное явное выступание делают ручку одной из интереснейших эстетических проблем.

То, как облик ручки гармонизирует в себе два мира – внешний, предъявляющий через нее свои притязания к сосуду, и художественную форму, которая, игнорируя внешний мир, требует ее к себе, – похоже, и является неосознанным критерием ее эстетического воздействия. Причем ручка не просто должна быть пригодной для выполнения своих практических функ-

ций, она должна убеждать в этом своим внешним видом. Это отчетливо проявляется в тех случаях, когда ручка выглядит прикрепленной, в противоположность тем, когда она кажется слитой с корпусом вазы. Первая конструкция подчеркивает, что ручка привнесена внешними силами, из внешнего порядка вещей, акцентируя ее превосходящее чисто художественную форму значение. Такая дистанция между вазой и ручкой еще более заметна в часто встречающейся форме, когда ручка имеет вид змеи, ящерицы или дракона. В данном случае на особое значение ручки указывает то, что кажется, будто животное заползло на вазу извне, и, так сказать, лишь впоследствии было включено в общую форму.

Здесь на фоне наглядно-эстетического единства вазы и ручки на передний план выступает принадлежность ручки к совершенно иному порядку, из которого она возникла и который через нее претендует на вазу. И напротив, акцент переносится на включенность в эстетическое единство, если ручка кажется непосредственным продолжением корпуса вазы, подобно рукам человека, которые выросли в том же едином процессе организации, как и его тело, и так же являясь посредниками в отношениях всего существа к внешнему миру.

Эта тенденция к единству находит свое крайнее выражение в некоторых вазах цилиндрической формы, от которых отсечено так много, что остались лишь горловина и ручка. Особенно ярко это выражено у некоторых китайских чаш, ручки которых вырезаны из холодного металла.

Однако впечатление сразу же оборачивается недовольством, как только одним из смысловых значений ручки полностью пренебрегается в пользу другого.

Например, когда ручки полностью прилегают к корпусу вазы, создавая лишь разновидность рельефного орнамента. Из-за того, что такая форма исключает назначение ручки – обеспечивать возможность держать вазу и манипулировать ею, – возникает неприятное чувство абсурдности и несвободы, как если бы человеку руки привязали к телу. И никакая внешняя декоративная красота не может компенсировать того, что внутренняя тенденция вазы к единству поглотила ее отнесенность к внешнему миру. И наоборот, крайняя чуждость ручки сосуду как целому, крайнее выражение ее предназначенности практической цели налицо в том случае, когда ручка накладная и вообще не имеет жесткой связи с корпусом сосуда. На языке материала это часто подчеркивается тем, что ручка и сосуд сделаны из разного материала. В результате получают многообразные комбинации внешнего вида. У некоторых греческих ваз и чаш жестко закрепленная на корпусе и сделанная из того же материала ручка имеет вид широкой ленты.

Если она при этом сохраняет полное единство формы с сосудом, то такая комбинация может быть весьма удачной. В данном случае символизируется материал ленты по тяжести, консистенции и гибкости совершенно несравнимый с материалом корпуса вазы, и посредством этих явных отличий ясно указывается на принадлежность ручки к совершенно иной области бытия, причем благодаря неоспоримому единству материала эстетическая связанность целого сохраняется. Однако хрупкое и неустойчивое равновесие обоих требований к ручке невыгодным образом нарушается, когда жестко закрепленная ручка, хотя и выполненная из того же материала, что и корпус вазы, натуральным образом копирует другой материал, чтобы посредством иного облика подчеркнуть свой особый смысл. Именно у японцев, которые являются большими мастерами по части ручек и которым в некоторых бронзовых вазах удается создать недостижимое в других случаях единство крайне целевого характера ручки и власти эстетической целостности формы, – именно у них обнаруживается такое уродство, как жестко закрепленные фарфоровые ручки, в точности имитирующие накладные, оплетенные соломой ручки чайников. То, в какой степени ручка навязывает вазе чуждый ее самостоятельному смыслу мир, проявляется в высшей степени наглядно, когда специальное назначение ручки вынуждает материал вазы обретать совершенно для него несвойственную и похожую на маску поверхность. Если слитая с корпусом вазы ручка односторонне преувеличивает свою принадлежность

к ней в ущерб своему целевому назначению, то последний пример являет противоположную крайность: ручка не может выразить дистанцированность всего прочего по отношению к вазе более решительно, чем копируя материал этого прочего и именно ему навязывая облик совершенно чужеродного, будто навешенного на вазу извне, обруча.

Возможно, специфическая проблема ручки и не стоила бы столь пространного толкования, если бы само толкование не оправдывало себя широтой символических отношений, которое именно оно придает этому незначительному феномену.

Так как внутри искусства нет более четкого обозначения для этого великого синтеза и противопоставления, когда некая сущность полностью принадлежит единству одной широкой области и одновременно на нее претендует совершенно иной порядок вещей, который требует от нее сообразности цели, определяющей ее форму, причем форма эта тем не менее остается включенной в первую связь, как если бы вторая и вовсе не существовала. Например, индивидуум, принадлежа закрытому кругу семьи, общины, одновременно является точкой проникновения в эти круги притязаний внешнего рода: требований государства, профессии. Государство окружает семью подобно тому как практическая среда окружает сосуд, и каждый из ее членов уподобляется ручке, при помощи которой государство манипулирует ею для своих целей. И так же как ручка своей готовностью к выполнению практических задач не должна нарушать единство формы вазы, так и искусство жизни требует от индивидуума, чтобы он, сохраняя свою роль в органической замкнутости одного круга, одновременно служил целям другой, более широкой общности и посредством этого служения помогал включению более узкого круга в круг его превосходящий. Возможно, это и составляет богатство жизни людей и вещей, покоящееся на многообразии их взаимопринадлежности, на одновременности внешнего и внутреннего, на связи и слиянии с одной стороной, которые в то же время являются и расторжением, так как им противостоят связь и слияние – с другой. В этом состоит самое чудесное в миропонимании, мировосприятии человека, когда один элемент, будучи частью самодостаточности одной органической связи и как будто полностью растворяясь в ней, – одновременно может быть мостом, по которому в нее вливается совершенно иная жизнь, средством, при помощи которого одна целостность заключает в себя другую, без того чтобы одна из них была при этом разорвана. И то, что эта категория, которая в ручке вазы находит, возможно, крайнее, но именно поэтому и наиболее соответствующее ее охвату символическое выражение, то, что она наделяет нашу жизнь таким множеством жизней и сопереживаний (Mitleben), является, пожалуй, отражением участи нашей души, имеющей родину в двух мирах. Ибо и она обретает завершенность лишь в той мере, в какой в качестве необходимого члена полностью принадлежит гармонии одного мира, не вопреки, а именно благодаря той форме, какую налагает на нее эта принадлежность, входит во взаимосвязи другого, подобно руке – реальной или идеальной, – которую один мир протягивает, чтобы захватить и присоединить к себе другой, и, в свою очередь, быть захваченным и присоединенным этим другим.

*Перевод с немецкого Людмилы Кортумовой*

## Георг Зиммель

### Рама картины. Эстетический опыт

Характер вещи зависит в конечном счете от того, является она целым или частью. Есть ли отдельное бытие нечто самодостаточное, замкнутое в себе, определяемое исключительно законом своей собственной сущности, или оно лишь часть во взаимосвязи целого, которое единственно дает ему силу и смысл, – вот что отличает душу от всего материального, свободного человека от простой части социума, нравственного человека от того, кого чувственная страсть ставит в зависимость от всякой данности. То же отделяет произведение искусства от всякой части природы. Ибо в качестве природного бытия любая вещь есть лишь промежуточный пункт непрерывно текущих энергий и материй, понятный только из предшествующего, значимый только как элемент всего природного процесса. Сущность художественного произведения, напротив, заключается в том, чтобы быть целым для себя, не нуждающимся ни в каких отношениях к чему-либо внешнему, замыкающим на себя все свои связи. Будучи тем, чем может быть еще только мир как целое или душа – *единством* частных, произведение искусства, как мир для себя, закрывается от всего внешнего. И границы его имеют совершенно иное значение, чем то, что мы называем границами природных объектов. Границы в природе – это лишь место непрерывных экзосмосов и эндосмосов со всем, находящимся по ту сторону, а для произведения искусства – это та абсолютная замкнутость, которая в одном акте соединяет направленные вовне безразличие и оборону и направленное вовнутрь унифицирующее объединение. Рама картины в свою очередь символизирует и усиливает эту двойственную функцию его границ. Она отделяет его от всего окружающего и, следовательно, от зрителя, помогая тем самым установить дистанцию, благодаря которой только и возможно эстетическое наслаждение. Дистанцирование какой-либо сущности от нас в душевном смысле означает единство этой сущности в себе. Ибо лишь в той мере, в какой данная сущность замкнута в себе, она обладает сферой, в которую никто не может проникнуть, бытием-для-себя, с помощью которого она сохраняет себя от других.

Дистанцированность и единство, противопоставленность нам и синтез в себе есть чередующиеся понятия. Два главных свойства произведения искусства – его внутреннее единство и то, что оно как бы окружено сферой, отделенной от всякой непосредственной жизни, – представляют собой одно и то же, увиденное с разных сторон. И лишь обладая этой самодостаточностью, и благодаря ей, произведение искусства может дать нам так много. Его бытие-для-себя есть тактическое отступление (*Anlauffrueckschritt*), посредством которого оно тем глубже и полнее в нас проникает. Чувство незаслуженного подарка, которым оно нас осчастливляет, возникает оттого, что эта гордая самодостаточная замкнутость все-таки становится нашей.

Свойства рамы картины раскрываются в поддержке и выделении этого внутреннего единства картины. Начнем с такого, казалось бы, случайного момента, как стыки между ее сторонами. Взгляд скользит по ним внутрь, продлевая их до идеальной точки пересечения, подчеркивая, таким образом, отнесенность картины со всех ее сторон к центру. Это сводящее действие еще усиливается, если внешние края рамы несколько приподняты по отношению к внутренним, так что четыре ее стороны образуют сходящиеся плоскости. По тем же соображениям популярная сегодня форма с приподнятыми внутренними краями, образующими скос наружу, кажется мне совершенно неприемлемой. Ибо взгляд, как и тело, с большей легкостью движется сверху вниз, чем наоборот, и, таким образом, неизбежно уводится от картины вовне, подвергая ее целостность опасности центробежного рассеивания.

Скорее изолирующую, чем синтезирующую функцию выполняет окантовка рамы двумя планками. В этом случае весь орнамент или профиль рамы уподобляется течению потока между двумя берегами. И именно это оттеняет то островное положение, которое необходимо

произведению искусства по отношению к внешнему миру. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы орнамент рамы способствовал этому непрерывному течению взгляда, как будто постоянно устремляющегося обратно в себя.

По той же причине конфигурация рамы нигде не должна допускать разрывов или мостков, через которые, так сказать, мог бы войти мир или через которые само произведение могло бы выйти в мир, как это происходит, например, когда содержание картины продолжается на раме – к счастью, редкая ошибка, которая полностью отрицает для-себя-бытие произведения искусства, а тем самым и смысл самой рамы. Замкнутое в себе течение рамы не означает, однако, что ее орнамент должен идти параллельно своей оправе. Напротив, именно для того, чтобы четче выделить течение рамы, превращающее картину в остров, линии орнамента должны резко, до перпендикулярности, отклоняться от этих параллелей. Все поперечные к краю рамы линии задерживают в ней этот поток, сила и подвижность которого при преодолении таких препятствий возрастают, обретая яркость в нашем эстетическом восприятии. Структура орнамента рамы полностью определяется впечатлением течения и замкнутости в себе, подчеркивающим отграниченность картины от всего окружающего, так что каждая разделяющая линия оправдана в той мере, в какой она позволяет максимально усилить это впечатление. По тем же соображениям становится понятной давно оправдавшая себя практика вставлять маленькую картину в широкую, во всяком случае, более энергично воздействующую раму. Ибо опасность затеряться в непосредственном окружении и недостаточно самостоятельно выступить против него, должна быть встречена более сильными средствами изоляции, чем это требуется для очень большой картины, которая сама по себе уже заполняет значительную часть зрительного поля. И поскольку последней нет нужды опасаться конкуренции со стороны окружения для самостоятельной значимости производимого ею впечатления, ее отграниченность рамой может быть минимальной.

Конечное назначение рамы доказывает неприемлемость появляющихся там и тут текстильных рам: кусок ткани воспринимается как часть продолжающейся много дальше материи, в нем не содержится внутренней причины того, почему рисунок был обрезан именно в этом месте, он указывает на неограниченное продолжение. Поэтому текстильная рама лишена оправданной формой отграниченности и, следовательно, не может отграничивать что-либо другое.

В случае с тканями без рисунка, где этот недостаток замкнутости и способности к отграничению выражен меньше, достаточно мягкости края и общего впечатления от материи, чтобы он снова проявился. Материи недостает той собственной органической структуры, которая придает дереву такую действенную и в то же время скромную замкнутость в себе самом и которой так остро не хватает рамам-имитациям, тогда как на вырезанных из дерева золоченых рамах она чувствуется, даже несмотря на позолоту, не скрывающую легких неравномерностей ручной работы, благодаря которым ее органическая живость превосходит всякую точность машины.

Правильно понятый, этот принцип объясняет, почему сегодня в интерьерах, обставленных более-менее со вкусом, не встречается фотографий природы в рамах. Рама подходит только для изображений с завершенным единством, которых в природе не бывает. Каждый непосредственно взятый из нее фрагмент тысячами пространственных, исторических, понятийных, духовных отношений связан со всем тем, что находится от него в большей или меньшей, психической или душевной близости. Лишь художественная форма обрезает эти связи, соединяя их внутри себя. Для части природы, которую мы инстинктивно воспринимаем лишь во взаимосвязи великого целого, рама противоречива и насильственна, тогда как для жизненного принципа произведения искусства она естественна и необходима.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.